

- - [Воспоминание об архимандрите Макарии, игумене русского монастыря святого Пантелеймона на горе Афонской](#)
 - [§ I](#)
 - [§ II](#)
 - [§ III](#)
 - [Глава А](#)
 - [Глава Б](#)
- [Примечания](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [*](#)
 - [**](#)
 - [***](#)
 - [****](#)
 - [*****](#)
 - [*****](#)
 - [*****](#)
 - [*****](#)
 - [*****](#)

Введение

Содержание

**Воспоминание об архимандрите Макарии, игумене
русского монастыря святого Пантелеймона на горе
Афонской**

Девятнадцатого июня скончался на Афоне игумен русского Пантелеймоновского монастыря архимандрит Макарий. В телеграмме, полученной через Афины «Моск<овскими> ведом<остями>», сказано, что смерть его была почти внезапная. Он сам служил литургию и только что стал разоблачаться, как вдруг его поразил удар.

Окончить самому литургию, последний раз совершить великое таинство евхаристии и умереть!

Счастливая кончина, — вполне достойная его долголетних подвигов, его святой жизни, его прекрасной души!

Я знал лично отца Макария; знал его даже коротко, потому что сам целый год прожил на Афоне 17 лет тому назад (<18>71 — <18>72), постоянно пользуясь его гостеприимством в Руссике.

Это был великий, истинный подвижник, и телесный, и духовный, достойный древних времен монашества и вместе с тем вполне современный, живой, привлекательный, скажу даже — в некоторых случаях почти светский человек в самом хорошем смысле этого слова, т. е. с виду изящный, веселый и общительный. Не знаю наверное, каких лет он скончался, но думаю, что около 70 лет — 66—67, быть может. В бытность мою на Афоне, в <18>72 году, я помню, он как будто говорил мне тогда, что ему 48 лет. Он был в то время чрезвычайно подвижен и бодр. Седых волос в его черной и длинной бороде еще мало было.

Родом отец Макарий был из тульских купцов, из богатой и весьма известной в России семьи Сушкиных. Звали его (кажется) Михаил Иванович.

Во время наших с ним частых и долгих бесед на Афоне он, по просьбе моей, рассказывал мне многое о своей прежней жизни в миру и о своем удалении на Св<ятую> гору.

Ему не было еще 30 лет, если не ошибаюсь — всего 25, когда он постригся против воли отца.

Мать его была очень набожная и добрая женщина и, как он мне сам говорил, имела на него большое влияние.

Но по наружности молодой Сушкин жил так же, как и многие богатые и молодые купеческие сыновья <18>40-х годов: помогал отцу по торговым делам, ездил на ярмарки, щеголял, бывал и на балах, танцевал, по собственному признанию — даже охотно читал и кой-какие романы, курил трубку; думал иногда, конечно, и о невестах. Но при всем этом *девственность* свою он строго хранил, и мечта о монашестве не оставляла его посреди коммерческих хлопот и всяких мирских развлечений.

Мать его любила беседовать с ним о духовных предметах и часто горячо увещевала его оберегать себя до брака от плотских страстей. «Когда и жених, и невеста оба вступают в брак девственниками — ангелы Божий радуются на небесах и невидимо летают над брачным ложем их», — говорила ему мать, — и эти слова ее производили на юношу, по его собственному мне признанию, глубокое впечатление.

— Я думал, — говорил он мне с чувством, — что если я согрешу, то не только навлеку на себя гнев Божий, но и мать жестоко обижу, а мне и вспомнить об этом было даже больно.

Потом прибавил смеясь: «Ну и о невестах думал, и были барышни очень красивые, с которыми танцевать приходилось, и танцевать я был не прочь».

Я помню, до чего мне было приятно на суровом и дальнем Афоне в <18>70-х годах видеть этот мгновенный просвет на веселую прежнюю жизнь наших провинций и слышать эти простые и живые признания от одного из величайших аскетов нашего времени!

Такого рода рассказы и признания, вовремя и кстати произнесенные опытными монахами, чрезвычайно ободрительны не только для начинающих послушников, которых нередко отпугивают будущие тягости иноческой жизни, но и для мирян, желающих подчинить хоть сколько-нибудь свою жизнь учению воздержания и понуждения. Когда мне случалось в тяжкие минуты какого-нибудь нравственного или телесного изнеможения открывать душу моему этому умному, благородному и святому человеку и он говорил мне: «Понудьте себя, — только понуждающие себя восхищают Царствие Небесное!»¹, я чувствовал, что он, этот герой самоотвержения о Боге, имеет право мне так говорить!

Как обыкновенно начинал он свою жизнь, как он прожил богато и привольно до 25 лет и что он перетерпел потом здесь, на этих дальних, чуждых и безмолвно унылых скалах — это вообразить, я думаю, нетрудно!

И само даже мирское юношеское воздержание его было еще потому особенно ценно, что он, по всеобщему свидетельству, смолоду был красавец. Много легче тому вести себя скромно, на кого и глядеть никому нет особой охоты; но красота целомудрию великий противник. Может ли не чувствовать молодой человек, живой от природы, что он очень красив и что понравиться женщине ему вовсе не трудно?

А что Михаил Иванович Сушкин был очень красив смолоду, то на это у меня есть случайное и очень надежное свидетельство одного из наших товарищей по консульской службе — Николая Федоровича Якубовского, умершего консулом в Салониках в <18>73 году.

Якубовский был старый эстетик и романтик и во всем красивом, изящном, выразительном и сильном знал толк и был всему подобному бескорыстно предан.

Когда он приехал сменить меня на консульский пост в Салоники года за два до смерти своей и увидел отца Макария, они вспомнили оба первую и случайную встречу свою в Дарданеллах лет около 20 тому назад, и Якубовский потом рассказал мне об этом.

Он до Крымской войны служил секретарем вице-консульства нашего в Дарданеллах; свыкся и сроднился с Востоком, но в сердце оставался пламенно-русским человеком и всему русскому был всегда до исступления рад.

Однажды из окна своего он увидел двух людей, которые, стоя на улице, оглядывались с недоумением и как будто чего-то искали.

— Я тотчас узнал в них русских (рассказывал Якубовский). Да и нельзя было не узнать, потому что один из них был в высоких хороших сапогах, в долгополом купеческом сюртуке и фуражке. Средних лет, солидный. А другой был много моложе и одет щеголевато и просто писанный красавчик; немножко бледный брюнет, тонкий, стройный; прекрасный нос с горбинкой; чернобровый; глаза выразительные, томные; держал себя скромно и немножечко как будто бы с гордостью... Прямо так! Avec dignite!..²

Я им ужасно обрадовался. — «Наши, думаю, наши!» Давно я настоящих здесь русских людей не видал. Кликнул их; они тоже обрадовались; взошли, и мы побеседовали. Это и был молодой Михаил Иванович Сушкин с каким-то приказчиком, — отцовским или чужим, уж не помню. Они ехали на Афон, попали в Дарданеллы и искали для справок и указаний русское консульство. Ну я, конечно, все им устроил тотчас, — и вот теперь мне 60 лет, ему около 50, и где пришлось встретиться? в Салониках. Я консул — он архимандрит!

Впрочем, прибавлю я от себя, отец Макарий и в 50 лет, и архимандритом был очень красив, строен и гибок по-прежнему; такие же прелестные выразительные глаза из-под густых черных бровей; в лице чрезвычайно привлекательном сочетание серьезности с добротою, а по временам и с откровенною, любезной веселостью; и даже та смесь скромности и достоинства в манерах, которую Якубовский находил у него смолоду, была у него заметна и после тридцатилетних трудов на Святой горе.

Призвание к монашеству у молодого Сушкина явилось рано. По всем признакам оно было самого чистого и возвышенного характера, *самопроизвольного*, так сказать, характера, а не последовательного какого-нибудь. То есть для привлечения его души к аскетизму не нужно было никаких особенных переворотов, скорбей, оскорблений, неудач и т. п. Есть люди, которые становятся очень религиозными и даже идут в монахи после сильных нравственных потрясений; нередко также к Богу, к церкви и к аскетизму и без глубоких потрясений этих приводит человека его собственный тяжелый, неприятный и неуживчивый характер. Человек вообще несимпатичен, не любим; он это и сам чувствует, он винит нередко себя; но ведь у самого-то у него *сердце есть* человеческое. Оно болит ежедневной и долгой обидой... И вот он ищет Бога; хочет Бога любить, Его Евангелие, Его святых, Его ученье, Церковь, старцев учащих и людей, не как людей уже (это уже ему почти недоступно), а как *братию* о Христе, братию такую же грешную, слабую, многострастную и страдающую, как и он сам, но единомысленную ему в строгом мировоззрении. «Возлюбим друг друга, чтобы в единомыслии исповедовать Отца и Сына и Святаго Духа» и «Будем в единомыслии исповедывать Троицу христианскую, чтобы возлюбить друг друга насколько есть сил!..»³

Отец Макарий, повторяю, был откровенен со мною и рассказывал мне достаточно о себе, хотя бы и только в главных чертах, — ни о чем подобном я от него не слыхал. Рассказы его именно и были следствием частых вопросов моих: «Почему, и как, и вследствие чего тот или другой человек стал монахом».

Это один из самых замечательных и поучительных вопросов, когда идет речь о монашестве.

На подобные мои вопросы он, между прочим, рассказывая и о себе, говорил, что переворотов, внезапных или глубоких потрясений в жизни его не было, несчастной любви он не испытал, и влюбиться даже он ни разу еще не успел.

О дурном, неуживчивом каком-нибудь собственном его характере, мне кажется, не могло быть и речи. Первоначальная натура человека, для опытного и наблюдательного ума, всегда просвечивает произвольно сквозь самый законченный и совершенный иноческий образ. Когда изучишь монахов с доброжелательством и в то же время с беспристрастием, то монашество начинает казаться каким-то *самоваянием* по определенному образцу, при помощи Божией и при руководстве наставников... Чувствуешь, что *по изволению* своему, по усердию, по искренности веры и любви к идеалу, человек сделал много, одержал над собою много побед в том или другом отношении; видишь, догадываешься, что «самоваяние» это было у него усердное, нередко даже жестокое, беспощадное к самому себе... Но что же делать, если у одного натура золотая, а <u>другого — медная, а у иного — деревянная или глиняная, и чаще всего смешанная какая-нибудь: золото — в одном, железо — в другом, глина — в третьем! Заслуга невидимая, перед Богом, быть может, и равная, но видимый перед людьми результат не тот. Опытные старцы-руководители, следя за внутренней борьбой, зная, что кому тяжело, отлично понимают все эти оттенки... И мы, со стороны, если хотим быть добросовестными судьями и не смущаться, должны выучиться понимать, что нельзя и требовать от всех натур равной или одинаковой чистоты окончательного монашеского образа. Но, даже и при самом правильном изваянии, разнородный, прирожденный «материал» можно видеть и мысленно осязать.

Мне кажется, что у отца Макария сама по себе и натура была драгоценная... Симпатичная душа М. И. Сушкина беспрестанно просвечивала сквозь вынужденную положением суровость и властность Святогорского игумена... Узнавши его почти 50-летним аскетом, я *наугад* берусь утверждать, что он и смолоду *не мог не быть* добр, приятен, уживчив. И я уверен, что мою догадку подтвердят все те, которые знали его юношей. Поэтому едва ли какая-нибудь болезненная мизантропия⁴ или досада и на себя, и на людей могли быть причиной его удаления в монастырь.

Каких-нибудь притеснений или обид дома также, по-видимому, не было. Мать была очень добра; отец — суровее, но тоже не обижал ничем особенно. *Прямо — призвание*, чистое, настоящее. Какая-нибудь общая мысль о суете и греховности мира этого; какая-нибудь непосредственная, постоянная, утверждаемая духовным чтением, мысль о загробной жизни, о райском блаженстве, об адских, ужасающих муках, т. е. *именно то*, что составляет *самую сущность* христианской веры, сущность, увы, слишком часто забываемую нынче для дум о практической земной морали, о пользе ближних и т. д.

Быть может (и даже наверное), и сильная примесь бессознательного эстетического чувства; любовь к особой поэзии иноческой жизни. «Коль возлюбленны селения Твоя, Боже сил! Желает и скончается душа моя во двory Господни».

«Ибо птица обрете себе храмину и горлица гнездо себе, идеже положит птенцы своя; алтари Твоя, Господи сил, Царю мой и Боже мой».

«Яко лучше день един во дворех Твоих паче тысяч; изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже жити ми в селениях грешничих»⁵.

Любовь к столь торжественному и столь трогательному православному богослужению тоже сильно действует на молодых религиозных мечтателей. Само собою разумеется, что, при самом искреннем смирении и сознании своей греховности, набожный юноша, поступая в монахи, не может не мечтать иногда и о том, что, быть может, он удостоится стать со временем иеромонахом, что он будет сам совершать «великия и страшныя таинства», как он будет произносить во храме те самые возгласы, которые теперь его со стороны так сильно потрясают.

Люди, отбившиеся от Церкви, отвычные от *истинного* «дедовского», несентиментального Православия, и понять уже не в силах всей сладости подобных мечтаний, но кто не утратил настоящей веры, или кого Господь помиловал и возвратил опять к ней какими бы то ни было, Ему известными, путями, тот понимает подобные желания, тот завидует служащему иеромонаху *такою завистью, какую никакая заповедь запретить не может*, — завистью доброю, любящею, чистою ревностью по Господним таинствам и по службе великой и священной Апостольской церкви нашей.

Я уверен, что покойный старец архимандрит Макарий, еще будучи красивым щеголем — Мишей Сушкиным, мечтал об этом безнадежно и робко. Кто знает? Быть может, даже и за стаканом чая, с трубкой в руках, сидя в каком-нибудь трактире, на ярмарке по отцовским делам.

Воображение у *отца* Макария было. Это несомненно. Сильная идеальная его натура была видна и в самой наружности его: в его бледном, продолговатом лице, в его задумчивых глазах, даже в той сильной впечатлительности и подвижности, которую не могли уничтожить в нем вполне ни природная твердость характера, ни ужасающая непривычный ум суровость афонской дисциплины, под действием которых он так долго прожил.

Я знал, я видел сам не раз, как его чувствительности, например, было тягостно отказать в чем-нибудь людям, стеснить их, наказать, строго понудить. Я даже часто дивился, глядя на него и слушая его речи, как могла эта натура, столь нежная, казалось, во всех смыслах столь идеальная, и сердечная, и быстрая, — как могла она подчиниться так беззаветно, глубоко, искренно и безответно — всему тому формализму, который в хорошем монашестве неизбежен! Скажу еще — не только неизбежен, но и в высшей степени плодотворен для духа, ибо он-то, этот *общий формализм*, дающий так мало простора индивидуальным расположениям, даже нередко хорошим, может быть, более всего другого упражняет волю инока ежечасными понуждениями и смиряет его своенравие, заставляя иногда даже и движениям любви и милосердия предпочесть послушание начальству или уставу.

Поживши на Святой горе, я понял скоро и сам всю душевную, психологическую, так сказать, важность всего того, что многие, по грубому непониманию, зовут «излишними

внешностями».

Но и понявши, я продолжал дивиться, как такая, выражаясь по-нынешнему (т. е. противно и даже довольно глупо) «нервная» натура смогла подчиниться всему этому так глубоко и так искренно! И, дивясь, только еще больше любил и уважал его.

В последние, <18>80-е, года, по свидетельству очевидцев, о<тец> Макарий достиг крайнего бесстрастия. Его уже ничто не возмущало: никакая случайность, никакая внезапность.

«Если бы и гора Афонская с грохотом валилась в море, — он и тогда, кажется, не смутился бы!» Так выражаются эти очевидцы.

Никто от этого некролога моего не имеет права требовать точности, — ни по отношению к самым событиям, ни по отношению ко временам и срокам.

Моя память, мои впечатления восемнадцать лет тому назад^б, в душе моей живущий образ этого прекрасного человека, кой-какие отрывки из наших с ним бесед, из его рассказов и признаний, мнения о нем других людей — монахов и мирян, — вот мои источники.

Быть может, я ошибусь в каком отдельном случае, — но я думаю, что все те, которые покойного отца Макария знали, найдут изображение мое схожим и верным.

Ошибусь я в фактах и сроках, но едва ли ошибусь в понимании духа его жизни, в оценке его заслуг, его природы и стремлений.

Мне помнится, например (довольно, впрочем, смутно), будто я слышал от нескольких русских монахов на Афоне, что в Тульской губернии и соседних с нею около <18>48 года в среде купеческой молодежи усилилось особенно стремление к монашеству и образовалась целая компания молодых людей, которые сговаривались все вместе идти на Афон. Был, между прочими, в этом кружке и молодой малоросс, учитель музыки, которого я тоже знал на Святой горе строгим иноком и замечательным регентом. По недавним известиям, он жив еще и теперь, хотя совсем дряхлый старец. Знал я и других монахов из этого самого кружка Руссика; одного из них, помню, звали отец Анатолий; теперь его уже нет на свете.

Известно, что многие русские люди торгового сословия, сами будучи вообще набожными, нередко препятствуют сыновьям своим поступать в монахи; они, точно так же, как и многие люди дворянского общества — не отвергающие ни Бога, ни Церкви, находят, вероятно, монашество крайностью. Или, даже и считая его святым или хоть, по крайней мере, полезным учреждением в принципе, по эгоистической страстности находят, что это прекрасное учреждение создано для кого угодно, только не для их сыновей. Препятствий этих от семьи не избегли и некоторые молодые люди из этого религиозно настроенного кружка. Иные отцы не только не благословляли охотно сыновей на монашество, но даже не хотели долго пускать их на поклонение святым местам Востока, опасаясь, что они там останутся. Особенно много горя выпало на долю того юноши, которого я знал в Руссике уже под именем инока Анатолия. Его отец долго и жестоко тиранил и без милосердия бил за его аскетические стремления.

Отец Михаила Петровича Сушкина хотя и не мучил сына, но тоже долго не соглашался отпустить на паломничество. Наконец — согласился с тем уговором, что он вернется домой. Пришлось уступить, но Бог судил иначе.

Все ли разом эти молодые люди поехали на Восток или врозь — не знаю, не помню. Кажется — врозь. Помнится, как будто М<ихаил> Петр<ович> первый из них остался на Св<ятой> горе, а вслед за ним приехали другие. Справок обо всем этом навести мне негде, да оно и не важно.

Я очень хорошо помню, что о компании этой, о страданиях отца Анатолия и о собственных тогдашних молодых чувствах мне во время жизни моей на Афоне рассказывал тот, и поныне здравствующий, малоросс-музыкант, который был в Руссике регентом в <18>70-х годах. Помню также очень хорошо, что я рассказ его слушал несколько рассеянно, но рассеянность моя происходила не от равнодушия и пренебрежения, а, напротив того, от одной весьма серьезной мысли, которая меня во время рассказов этих волновала.

Я очень хорошо помню, что я думал в то время так:

— Ведь все то, о чем он рассказывает, это религиозное движение юношей в провинции происходило в конце <18>40-х годов. Кажется, в том самом <18>48 году, когда вся Европа была

в революционном огне и когда в Петербурге в другом кружке русской же молодежи, в кружке Петрашевского, задуман был безбожный и кровавый переворот. После неудачи глупого заговора этого, когда по милости императора Николая заговорщики были не казнены, а только все сосланы в Сибирь, — рассказывали, будто бы эти молодые люди ненавидели не только царскую власть и сословный строй России, но и религию, до того, что приобрели плащаницу⁷ и рубили ее на куски; а про Петрашевского говорили знавшие его лично люди, что он нарочно часто проходил мимо тех лавок, где на столиках стояли выставленные для продажи иконы, и нарочно же задевал их длинным воротником шинели, чтобы они падали на землю. Клевета ли это, или правда — не знаю; но так говорили.

Во всяком случае, несколько больше, несколько меньше, а дух был такой у этой столичной молодежи, по имени только русской. Там дворяне, люди тонкого воспитания, люди высшей образованности, там Европа демократическая и безбожная; а здесь, в глуши провинции, — купечество и разночинство молодое; тесный кружок единомысленных идеалистов, которые думают не о земном спасении русского общества и тем более не о «человечестве» каком-то, а только о загробном спасении *своей души*. Они тоже заговорщики; они собираются, толкуют, шепчутся, но о чем? Не о том, как устроить общество и жизнь, *а как уйти от них*. И что же? Кто больше стал полезен тому же обществу, той же русской жизни: те ли разрушители по любви к уравнинному и опошленному «человечеству», или эти созидатели русских религиозных общин на чуждом по быту Востоке, созидатели «селений Господа сил», по любви к своей собственной душе? И вот и я, смолоду воспитанник той же столь европейской, столь не самобытной по духу русской литературы <18>40-х годов, сам теперь, под сорок лет, считаю за счастье прийти поучиться не только вере, но и разуму у этих тульских и старо-оскольских каких-нибудь купцов на далеком Афоне! Учусь у них и умнею под старость, скорблю и блаженствую, каюсь и радуюсь и за честь себе считаю их дружбу, их участие; за дар Божий — их наставления!

Вот, что я тогда думал, слушая рассказ отца Г<ерасима>. Думу эту свою я помню твердо; ее я не забыл, но через думу эту я, в самом деле, быть может, что-нибудь и не совсем так расслышал и не совсем точно передал... Прошу тех, кто лучше моего знает все эти обстоятельства, простить мне и исправить мои ошибки.

Когда молодой Сушкин приехал на Афон, Руссик стал только что поправляться в своих делах, благодаря тому, что престарелый игумен-грек, отец Герасим, незадолго до этого пригласил в свой разоренный до голода монастырь русского иеродиакона Иеронима, который дотоле жил один в особой собственной келье на берегу моря.

Подробности этого переселения я не стану здесь рассказывать; вкратце об этом я говорил уже давно, в статье моей «Панславизм на Афоне», и ее всякий может найти в моем сборнике «Восток, Россия и славянство»⁸.

О<тец> Иероним стал духовником и старцем еще немногочисленной тогда русской братии в монастыре св<ятого> Пантелеймона. Это был не только инок высокой жизни, это был человек более чем замечательный. Не мне признавать его святым, — это право Церкви, а не частного лица, но я назову его прямо *великим* человеком с великой душой и *необычайным* умом. Родом из не особенно важных старо-оскольских купцов (Воронеж<ской> губ<ернии>?), не получивши почти никакого образования, он чтением развил свой сильный природный ум и до способности понимать прекрасно самые отвлеченные богословские сочинения, и до умения проникаться в удалении своим всеми самыми живыми современными интересами. Твердый, непоколебимый, бесстрашный и предприимчивый; смелый и осторожный в одно и то же время; глубокий идеалист и деловой донельзя; физически столь же сильный, как и душевно; собою и в преклонных годах еще поразительно красивый, — отец Иероним без труда подчинял себе людей, и даже я замечал, что на тех, которые сами были выше умственно и нравственно, он

влият еще сильнее, чем на людей обыкновенных. Оно и понятно. Эти последние, быть может, только боялись его; люди умные, самобытные, умеющие разбирать характеры, отдавались ему с изумлением и любовью. Я на самом себе, в 40 лет, испытал эту непонятную даже его притягательную силу. Видел его действие и на других.

Что же должен был чувствовать увлеченный духовными мечтами юноша Сушкин?

Конечно, он тотчас же открыл о<тцу> Иерониму свою заветную мысль; сознался ему, что он не просто только поклонник и богомолец у св<ятых> мест, но человек, жаждущий идти по стопам его аскетизма.

О<тец> Иероним сначала сурово отклонял его.

«По воле Божией он поставлен пасти здесь пока еще малочисленное русское стадо. Положение на чужбине трудное. В руках греков до его перехода в Руссик, община обнищала до того, что Протат Афонский вывесил объявление о банкротстве этого монастыря, и греческие монахи собирались разойтись и бросить вовсе обитель. Не было ни имений, ни жертв. Как ни проста и сурова жизнь святогорских киновий, но что-нибудь надо же есть и во что-нибудь надо же одеваться. Не было, наконец, ни хлеба, ни фасоли, не было ничего, кроме долгов. После призвания Иеронима дела начали немного поправляться. Съехались русские, получились жертвы из России. Но монастырь еще беден и строения почти в развалинах. Надо быть осторожным. В России и так духовные власти расположены осуждать афонцев за слишком легкие и многочисленные пострижения. И они, эти власти, во многих случаях правы, к несчастью... Люди недостойные, негодные, неприготовленные постригались где-нибудь тут у греков и болгар, возвращались в Россию и позорили сан монашеский. Отец Сушкина — человек очень богатый, сильный, влиятельный, — он будет жаловаться, если его сына постригут здесь вопреки родительскому запрету. Имеет ли право отец Иероним для него одного, для Михаила Петровича, жертвовать нравственными и вещественными интересами целой общины, порученной ему по воле Божией? Конечно — нет. Пусть поживет, погостит, поучится, пусть просит у отца разрешения постричься... Тогда увидим».

Так думал и говорил великий наставник...

С горестью подчинился этому решению молодой человек. Придется, быть может, и домой возвращаться! Но Господь судил иначе. По неожиданному стечению обстоятельств, его пришлось постричь очень скоро; постричь даже прямо в схиму⁹, минуя все обычные порядки и всякую постепенность^{*}... Другая моя ошибка была та, что я думал — отца Макария постригли больного в мантию¹⁰, — но оказывается, что даже — в схиму... Я и это переменял. .

Статья г-на Красковского, которой я сочувствую уже за одно то, что автор так чистосердечно полюбил покойного о<тца> Макария, имеет сверх того и другие достоинства.

Она, вообще, хорошо написана и дает ясное понятие об образе жизни и нравственной физиономии этого благородного и привлекательного инока.

Автор сознается, между прочим, что он ехал на Св<ятую> гору с некоторым недоверием, находясь под влиянием книги г-на Благовещенского «Афон» (изданной еще в <18>60-х годах); но впечатление, которое произвел на него архимандрит Макарий, было так сильно, что он скоро переменял свои взгляды.

У г-на Красковского можно найти и довольно много подробностей, изображающих необычайно деятельную жизнь о<тца> Макария в последние года, т. е. в то время, когда он управлял обителью уже один, без руководства и поддержки своего наставника, о<тца> Иеронима (скончавшегося, кажется, в <18>85 году). Не довольствуясь тем, что он видел сам, г-н Красковский приводит целые отрывки из книги секретаря русского посольства в Константинополе, г-на Смирнова — «Две недели на Святой горе».

И в этих отрывках много хорошего.

Так как весьма вероятно, что не все подписчики «Гражданина» читают сверх того и другие газеты, то, я думаю, никто из них меня не осудит за довольно длинные цитаты из обоих этих почитателей покойного архимандрита.

Вот что говорит г-н Смирнов: «Я не мог достаточно надивиться бодрости и энергии отца Макария. Участвует он, например, в служении всенощной, делясь всю ночь, служит затем обедню, после которой председательствует за монастырскою трапезой. А потом, глядишь, в полдень, по нестерпимой жаре, бредет через двор в сопровождении нескольких монахов.

И до вечера то там, то сям видно его, постоянно занятого и спокойно, неторопливо отдающего приказания. Даже в *архондарике* ^{**} (гостиной) за чаем ему не дают покою; явится монах, поклонится ему в ноги, примет благословение и вполголоса долго говорит ему что-то. Отец Макарий выслушает и одним словом, часто одним движением головы сделает распоряжение. Говорит ли, или смеется не в меру кто-либо из монахов в архондарике за столом, игумен только взглянет в его сторону — и монах вдруг смолкает, смущенно и с виноватым выражением смотрит вокруг. Немало надобно тонкого ума, такта, кротости и сноровки, чтобы держать в порядке братию, ладить с Протатом и со всеми властями. Нелегко держать игуменский посох».

«Опасаясь явиться пристрастным (добавляет далее от себя г-н Красковский), так как, повторяю, я очень любил почившего отца игумена, решаюсь сказать о нем более существенное чужими словами. «Архимандрит Макарий, — пишет г-н Смирнов в указанной выше статье, — невысок ростом, худощав; большая борода и длинные волосы с проседью (в последнее время они были уже совершенно седыми) придают особую мягкость его доброму и выразительному лицу. По случаю болезни глаз, он носит дымчатые консервы ¹¹, и это мешает разглядеть его прекрасные серые глаза. Разговор у него неторопливый, голос негромкий и негустой, порою будто срывающийся. По тому выражению, с которым взгляды монахов останавливаются на архимандрите, сразу видно, что он тут глава не по одному названию. Я с любопытством вглядывался в приятное лицо игумена, о неутомимой деятельности и административных способностях которого так много слышал.

Архимандрит Макарий занимает две небольшие комнаты с низкими потолками и маленькими окнами. Прежде у игумена была одна комната, так как другую занимал покойный

старец Иероним. Деревянные диваны, несколько гнутых стульев, два-три стола и шкаф составляют все убранство игуменской кельи; ни одного мягкого кресла, никаких намеков на роскошь и комфорт; по стенам несколько икон и портретов, на окнах простые белые шторы, во всем простота, доведенная до последней степени».

Когда г-н Смирнов вошел к почившему отцу Макарию, комната «была полна народом, мирскими и монахами, пришедшими к игумену за различными распоряжениями перед праздником. Увидя такое многолюдное сборище, я хотел было воротиться назад, но отец Макарий у же увидал меня и поднялся из-за письменного стола, за которым сидел. Я извинился и просил его не отрываться от занятий.

— Да, действительно, — сказал мне архимандрит, — накануне праздника (храмового) дела накопилось немало. Вот сами видите. — Он показал наполненную народом комнату. — Уж извините, через четверть часа я буду посвободнее. А пока не желаете ли мою дачу посмотреть?

На небольшой балкон, который игумен назвал своею дачей, пришлось проходить через соседнюю комнату, которую, как я уже говорил, занимал отец Иероним. Тут помещается теперь спальня отца Макария, отличающаяся такою же, как и его кабинет, если еще не большею, строгостью обстановки. Спит игумен почти на голых досках, имея под головою жесткую кожаную подушку. Маленькая дверь ведет на узкий деревянный балкон, уставленный кадками с цветами, под остальными окнами игуменской кельи, выходящими в другом направлении, обширная каменная терраса, окруженная чугунного решеткой и заменяющая крышу здания ризницы. С террасы открывается прекрасный вид на монастырь, на море, на горы, с выглядывающею из-за них острою вершиной Афона. С маленького балкона, на котором я очутился теперь, вид гораздо уже: видны берег, часть залива и вдали горы Македонии, но на балконе была такая прохладная тень, в то время как полуденное солнце немилосердно накалило стены, крыши и каменный пол террасы, открывающийся перед нами уголок вида так ярко и красиво освещен, что я охотно присел отдохнуть на игуменской «даче»...«.

Отец Макарий тоже любил наслаждаться этою картиной, в глубокой задумчивости повторяя поэтическое песнопение: *Свете тихий святых славы... Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа Бога...* [12](#)

Но это были редкие минуты, когда отец Макарий находил возможным отдохнуть душой в природе, хотя и любил ее поэтической любовью, потому что все свои силы и все свое время он употреблял на исполнение иноческого долга и обязанности игуменской. День его начинался в глубокую полночь, когда братия несколькими ударами в колокол возбуждалась на келейное правило, которое требовалось исполнить до начала полу нотницы и которое для схимонаха, каким был отец Макарий, заключается в *тысяче двухстах поясных и ста земных поклонах*. Зимой сейчас после полуночи, а летом ранее ее, звонят к заутрени. Вместе с утренею для отца Макария, как первого в монастыре духовника, начиналась очень бодрственная, деятельная, сосредоточенная жизнь. Двери небольшого параклиса в Покровском соборе, за которые один за другим, без отдыха для духовника, входили желавшие исповедоваться, осаждались такою плотною толпой монахов и поклонников, что пот катился по их лицам. По два, по три часа дожидались очереди, лишь бы только проникнуть за эти заветные двери и «у самого батюшки исповедаться». Трудно, пожалуй, этому поверить, но это факт, что отец Макарий, особенно поклонников, иногда по часу и более времени исповедовал, зато и исповедь эта была такою, какую у латинян называют «генерального». Отец Макарий не допрашивал о грехах, особенно по требнику¹³, как это делают некоторые неопытные или небрежные духовники, а исповедывающийся сам во всем сознавался, вследствие одного намека прозорливого старца, глядевшего таким ласковым, всепрощающим, но в то же время глубоким взором, что тот невольно чувствовал перед собою присутствие Всеведущего и Всемилосердного, но и

Карающего, а потому содрогался душой и падал ниц в трепетном сознании своей греховности. Некоторые поклонники приезжали на Афон нарочно для того только, чтобы исповедаться у отца Макария.

После утрени отец Макарий немедленно шел в один из параклисов совершать свою игуменскую, так называемую раннюю литургию, которая оканчивалась почти всегда одновременно с поздней, начинающеюся полутора часами позже. Игуменской литургии предшествовала панихида о каком-либо из новопреставившихся «благодетелей» обители или иноков. После панихиды начиналась проскомидия с продолжительными поминаниями просивших отца Макария молиться о них. Несколько иноков из толстых переплетенных книжек читали имена поминаемых, в то время как игумен вынимал частицы об их здравии или упокоении. Во время проскомидии читались часы медленно, внятно, большею частью кем-нибудь из иноплемennых новичков-послушников ^{***}. Литургия осложнялась особыми афонскими прошениями о России на сугубой ектении «о еже утвердити в земли нашей мир и благочестие, о том, чтобы Господь разрушил совет дерзновенно восстающих на попрание власти, Господом установленной», чтобы Вседержитель «исполнил долготою дней благочестивейшего государя императора нашего Александра Александровича, да совершит вся во славу Господню и во благо народа своего»; затем тоже продолжительными поминаниями на ектениях целых сотен имен жертвователей в монастырь, отсутствующих и больных иноков, а также присутствующих во храме богомольцев. Почти такое же, только сокращенное, поминовение происходило и во время великого выхода со св<ятыми> дарами. После литургии непременно служилось молебствие иногда девяти, даже двенадцати святым одновременно, и отец игумен сам своим слабым голосом пел такое молебствие.

Оканчивалась литургия, но для игумена не было отдыха. В коридорчике у дверей его кельи уже дожидались многочисленные просители из келлиотов, пустынножителей, сиромех и мирских, преимущественно греков. Лишь только игумен входил в свою келию, как эта толпа буквально врвалась за ним в дверь, так что приходилось запирает эту дверь на замок, чтобы дать отцу Макарию возможность выпить хоть чашку чаю и за ней отдохнуть две, три минуты. Когда отец Макарий и приглашенные им гости усаживались (а гостям этим во избежание натиска от греков-просителей приходилось иногда проходить через келейную комнату), как сейчас же подавалось неизбежное глико ^{****}, причем отец игумен выпивал рюмку фруктового, домашнего рому, закусывал вареньем и принимался за большую чашку густого московского чаю, причем в скоромные, т. е. рыбные дни, допускал роскошь — кушал чай с известными филипповскими сухарями. Но лишь только одна чашка чая была выпита, как сейчас же растворялась дверь и являлись просители-греки. У кого из них келии требовали починки, у кого калива разваливалась, кто просил платья, кто обуви, кто сколько-нибудь денег. Игумен терпеливо выслушивал каждого, направлялся к своему письменному столу, отпирал его ящик и раздавал кому золотую лирку, кому серебряный меджид или половину меджида. На платье и обувь выдавались особые билетки, с которыми получившие их отправлялись в обширный монастырский склад, из которого выдавались требуемые вещи. На склад этот работали обширные мастерские, устроенные отцом Макарием. Однажды только мне пришлось выслушать отказ отца игумена в выдаче подрясника какому-то сиромехе, а именно, когда потонуло монастырское судно с несколькими тысячами подрясников.

— Нет подрясников, — проговорил отец игумен, — потонули подрясники. Знать мы плохо молились.

В числе просителей о денежном пособии являлись нередко и русские богомольцы, израсходовавшие в пути, чаще всего потому, что в Иерусалиме, благодаря образцовой неисправности турецкой почты, по целым месяцам напрасно поджидали присылки денег из

дому. Отец Макарий никогда не отказывал таким просителям и даже не домохозяевам, а простым малороссийским батракам выдавал в долг (как они просили об этом) по 25 и более рублей. Почти не было случая, чтобы эти деньги не возвращались богомольцами, чаще же всего они отсылались обратно с излишком на поминовение или свечи. Многие из богомольцев испрашивали у отца Макария в долг ценные иконы.

Не успев еще выслушать всех просителей, отец Макарий шел вместе с прочею братией в столовую участвовать в братской трапезе, после которой возобновлялись беседы с просителями, а в почтовые дни начиналась письменная работа, захватывавшая все время отца игумена до десяти часов вечера, за исключением, конечно, времени, необходимого для вечерни и повечерия, на которых отец Макарий почти всегда лично присутствовал и лично же читал акафисты. Это чтение акафистов в праздничные дни было особенно торжественно».

Выписки мои из чужих статей на этот раз длинные, но, повторяю, едва ли кто посетует за это на меня. Сам я гостил на Святой горе давно, а гг. Смирнов и Красковский очевидцы недавние, и впечатления их свежее, чем мои.

К тому же и восемнадцать лет тому назад, если бы мне пришлось писать о деятельности и образе жизни отца Макария, я не сумел бы, вероятно, лучше этого сказать. Все это верно и *все это было и тогда*, когда я проживал подряд по 5—6 месяцев на Афоне, в 1872 году, отъезжая куда-нибудь в «мир» только на короткое время... Та же удивительная бодрость, при сложении вовсе не особенно крепком, та же доброта, та же симпатичность, тот же ум, те же *три с половиной часа сна* после необычайно трудового дня; та же щедрость к бедным; та же способность служить во храме с глубоким чувством и особым торжественным изяществом, поражающим не только усердного богомольца, но и всякого посетителя.

К этим строкам двух русских паломников мне пришлось бы прибавить немного; разве только несколько личных воспоминаний, мне особенно дорогих, для других же имеющих мало значения.

Теперь, когда долг справедливости исполнен, мне предстоит более трудная и менее приятная обязанность — указать на то, в чем мои воспоминания о Руссике и о самом отце Макарий несколько разнятся от свидетельств г. Красковского.

Второе мое, не слишком важное и даже не совсем решительное возражение или замечание на рассказ г-на Красковского о молодости и пострижении отца Макария — состоит в следующем. Г-н Красковский говорит, что родители позволили М. П. Сушкину постричься на Афоне и вообще там, где он хочет. У меня в памяти, напротив того, осталось впечатление, что отец его уступил и смягчился только в виду «совершившегося факта». Этим, мне кажется, и объясняются долгие колебания отца Иеронима и игумена Герасима, когда дело шло о пострижении молодого и богатого купца. У г. Красковского сказано, что отец Иероним колебался постричь именно «больного» Сушкина. У меня же из рассказов самих этих покойных подвижников сохранилось в уме другое воспоминание. Вот какое. Греко-русская община <монастыря> св<ятого> Пантелеймона в то время едва только начала воссоздаваться из расстройств и такой крайней нужды, что монахи собирались уже покинуть ее и разойтись по другим обителям. Духовное начальство российской Церкви и без того жаловалось неоднократно правительству нашему на слишком неразборчивые пострижения русских подданных на Святой горе. Понятно поэтому, что и грек-игумен, от<ец> Герасим, и духовник русской братии, от<ец> Иероним, — оба считали долгом своим прежде всего заботиться о вверенной им Богом общине и находили правильным принести в жертву духовные потребности одного юноши внешнему спокойствию многих; ибо это внешнее спокойствие всей братии, как русской, так и греческой, необходимо для посвящения всех помыслов и забот одной лишь духовной жизни. Но когда этот юноша заболел уже так опасно, что казался вовсе безнадежным, — его постригли немедленно и даже прямо в схиму (по свидетельству самого автора). Опасно больных постригают вообще охотно, не только на Афоне, но даже и в русских монастырях, менее свободных (граждански), чем восточные.

Многие, заметим кстати, и понять не могут — зачем же это умирающего постригать? Ведь он жить уже по-монашески не будет. Обетов самоотвержения — уже исполнить на этой земле не в силах. Это какой-то бессмысленный старый обычай, какая-то формальность, самообольщение, которое понятно было в суеверные времена Иоанна IV и Бориса Годунова, но теперь!?! И «теперь», и тогда, во времена московских царей, основы и общий дух Православия были неизменны... И тогда, и теперь умирающие постригаются не для того, чтобы жить на земле по-монашески, а для того, чтобы чистыми предстать перед страшным судилищем Господним. Пострижением уничтожаются и омываются все прежние грехи, а тех новых, в которые будет неизбежно впадать живой монах, оставшийся опять на земле, умирающий уже совершить не успеет. Однажды я у этого самого отца Макария спросил:

— Что такое пострижение — *таинство* это или только священный обряд?

— Оно относится к таинству покаяния и есть его высшая степень, — отвечал он.

Я никогда не встречал такого определения в катехизисах и, не будучи сам богословом, могу в этом случае ручаться по совести только за достоверность моего свидетельства, а не за догматическую правоту афонского аскета. Быть может, вопрос этот относится к числу тех не решенных еще окончательно высшим церковным авторитетом вопросов, которых, по мнению иных русских богословов, еще существует довольно много в системе восточноправославного учения (так думает, между прочим, о<тец> Иванцов-Платонов). И эта неоконченность системы восточного Православия не только не должна пугать нас, но, напротив того, она должна нас радовать, ибо такое положение дел ручается за то, что Церковь православная может не только еще продолжать свое *земное существование*, посредством одного строгого охранения, но и *жить*, т. е. развиваться далее на незыблемых апостольских корнях своих.

Если определять пострижение так, как я его определил со слов о<тца> Макария (и многих других монахов), то, разумеется, становятся понятны предсмертные пострижения, и отказывать в них желающим духовные отцы не имеют ни права, ни основания.

Сушкина же *даже и больного* колебались постричь; но умирающего постригли немедленно, не ожидая никак, что он встанет и принесет со временем обители такое множество нравственной пользы и такое обилие вещественных выгод.

Я уехал с Афона в Царьград в самом конце 1872 года, взволнованный и огорченный теми серьезными размерами, которые приняла уже тогда греко-болгарская распря, и впервые начиная прозревать вовсе не церковные и не богомольные цели тех самых болгар, которых и мне не раз в должности консула приходилось поддерживать. Я написал тогда две статьи для «Русского вестника»: одну, общеполитическую, «Панславизм и греки», а другую, более специальную, о начинавшихся национальных распрях и на Св<ятой> горе: «Панславизм на Афоне». Последняя была писана отчасти для русских читателей, отчасти же в ответ на фантастические нападки русофобской греческой газеты «Босфорский маяк» («Phare du Bosphore»)****. «Маяк» (между прочим, как слышно было, получавший помощь *от германского посольства*) страстно обвинял русских монахов на Афоне в политическом панславизме.

Это была решительно ложь и доказывало только еще раз, как я был прав, находя уже в то время, что «интеллигенция» православного Востока, и греческая, и славянская — одинаково вся сплошь гораздо менее нас, русских, расположена к лично-религиозным чувствам, а занимается лишь весьма противной и неосторожной игрой в *политическое Православие*. И греки, и болгары более образованного класса не верили даже и тому, что я *жил* так долго на Святой горе из-за личных, душевных побуждений, и считали меня, конечно, ловким притворщиком и особого рода агентом генерала Игнатьева. И это в то самое время, когда многие из русских друзей и сослуживцев моих, зная до какой степени это неправда, не только верили в мое личное увлечение Афоном и монашеством, но по другого рода недостаточности (все-таки более сердечной, чем восточно-единоверческая) опасались за мое психическое состояние.

В вышеупомянутой статье «Панславизм на Афоне», в которую г-н Красковский, может статься, в свое время и заглянул мимоходом как «старожил» катковской редакции, есть одно место, где я говорю о том же, о чем и теперь, т. е. защищаю русских монахов от напрасных обвинений в преднамеренном и сознательном «славизме» на Св<ятой> горе. Я привожу там несколько примеров и кратко рассказываю историю и причины удаления трех-четырех русских людей на Афон, не называя их по имени, ибо они все были тогда живы: двое из купцов (отцы Иероним и Макарий), один из офицеров и один безграмотный мужик-троечник.

Об отце Макарий я нахожу там вот что: «приезжает на Афон, на поклонение, богатый купеческий сын; он и дома был мистик и колебался давно, что предпочесть: клобук и рясу¹⁴ или балы, театры, трактиры, торговлю и красивую, добрую жену? Он заболел на Афоне; он умоляет грека-игумена и русского духовника постричь его хоть перед смертью. Игумен и духовник колеблются, добросовестность их опасается обвинения в иезуитизме. Молодой человек в отчаянии, положение его хуже, жизнь его в опасности. Он опять просит. Его наконец постригают. Он выздоравливает; он иеродиакон, иеромонах, архимандрит; он служит каждый день литургию, он исповедует с утра до вечера; он везде — у всенощной, на муле, на горах; на лодке в бурную погоду; он спит по три часа в сутки; он беспрестанно в лихорадке; он в трапезе каждый день ест самые постные блюда, — он, которого отец и братья миллионеры; его доброту, ум и щедрость выхваляют даже недруги его; греки советуются с ним, идут к нему за помощью. Иные, напротив того, чем-нибудь на него раздосадованные, говорят: «Все он с греками, все он за греков».

— Что это значит? *Панславизм*, конечно! — прибавляю я в насмешку над «Маяком».

Все это было писано под влиянием недавних впечатлений и вчерашних рассказов и прочтено прямо в печати обоими упомянутыми старцами. Отец Макарий по делам обители несколько раз после этого приезжал в Царьград; всякий раз виделся со мною, говорил об этой статье и не делал мне никаких указаний на какую-нибудь ошибку в этих строках.

«Обвинение в иезуитизме» — так написалось мне *тогда*: под этими свежими впечатлениями, и я помню, что это слово «иезуитизм» я употребил потому, что о^{<тец>} Иероним, рассказывая мне о пострижении о^{<тца>} Макария, говорил так: «Сушкины люди очень богатые и сильные, мы *опасались постричь его: отец мог обвинить нас в том, что мы кой-как поспешили постричь сына в надежде на богатый вклад. Мы не желали иметь в России такую худую славу и повредить этим обители.* Человека попроще можно было бы без таких колебаний постричь. Но умирающему как было отказать! Мы и положились на помощь Божию».

Итак, не столько болезнь, сколько *богатство* молодого Сушкина и его родителей — смущали игумена и о^{<тца>} Иеронима.

Чем сильнее болен человек, тем резоннее его скорее постричь добросовестным монахам, за богатством же *во что бы то ни стало* гонятся только тупые и недобросовестные игумены. И приснопамятный возобновитель Оптинской обители, архимандрит Моисей, забывал о деньгах, когда дело шло о других, высших соображениях.

Бог наградил упование отцов Иеронима и Герасима (игумена). Родители Сушкина приняли хорошо весть о пострижении сына, и вскоре прислан был от них на обитель большой денежный взнос. И с этого дня благосостояние и слава Руссика начали расти.

Молодой Сушкин принес обители благословение и счастье.

Вот мое, в сущности незначительное, возражение г-ну Красковскому.

Оканчивая эту главу, я перечел еще раз с начала и нашел в ней мало связи, очень мало отношения к настоящему предмету речи и, наконец, убедился даже, что и возражать о таком «оттенке» пожалуй что и не стоило. Но все-таки предаю ее на суд читателя, не исправляя ее и в том виде, в каком она у меня, так сказать, вырвалась, под гнетом личных весьма сильных воспоминаний и личных же дорогих мне размышлений о духе и назначении монашества.

Сознаюсь в избыточности всех этих до дела прямо не касающихся отступлений и прошу мне их великодушно простить.

Кто пережил такие сильные внутренние перевороты, как я пережил на Святой горе около двадцати лет тому назад, тому очень трудно воздержаться от подобных увлечений или излишеств!

И так приходится очень многое, слишком многое в себе подавлять и хранить!

Остается еще одно замечание — третье, последнее и самое главное.

Теперь следует мое последнее и самое главное возражение г-ну Красковскому.

В самом начале своей статьи об отце Макарии он говорил так:

«19 прошлого июня на Афоне скончался игумен и священноархимандрит св<ято-> Пантелеймонова монастыря отец Макарий, имя которого хорошо известно не только русскому, но и всему православному миру. Инок жизни высокоаскетической, он в то же время был великим патриотом и одним из тех замечательных русских организаторов Петровского типа, которыми собрана, устроена, возвеличена и прославлена Россия. Он восстановил на Афоне русское иночество, привлекал в управляемый им монастырь ежегодно тысячи русских поклонников из самых отдаленных окраин нашего обширного отечества и разнообразных слоев русского общества; самих турок заставил уважать русское иночество» и т. д.

По моему мнению, все это, что сказано в этих строках, надо отнести к отцу Иерониму, а не к отцу Макарию.

Отец Иероним был организатор; отец Макарий был только ученик и последователь его. Отец Иероним «восстановил на Афоне русское иночество» и т. д. Он создал новую русскую общину и прославил ее. Отец Макарий только сохранил и приумножил духовные его насаждения.

Это ясно прежде всего из того, что и самого отца Макария сформировал, утвердил и выучил — отец Иероним, нередко и жестоким искусом.

Эта неправильная историческая оценка весьма понятна со стороны г. Красковского: он отца Иеронима не видал, отца же Макария видел в полной духовной зрелости, в полной готовности к загробной жизни.

Я же видел их вместе в начале <18>70-х годов, видел сыновние отношения архимандрита к своему великому старцу; знал, что он уже и тогда, избранный в кандидаты на звание игумена в случае кончины столетнего старца Герасима, безусловно повиновался о<тцу> Иерониму и нередко получал от него выговоры, даже и при мне. Приведу только один пример.

Однажды пришлось архимандриту Макарию, по особому случаю, служить (не помню, в какой праздник) обедню за чертой Афона^{*****} на Ватопедской башне. Башня эта, служившая когда-то крепостью для защиты монашеских берегов, теперь имеет значение простого хутора или подворья какого-то, принадлежащего богатому греческому монастырю Ватопед.

В башне есть очень маленькая и бедная домовая церковь. В ней-то и совершил о<тец> Макарий литургию в сослужении молодого приходского греческого священника из ближайшего селения Ериссо. Жители этого селения ненавидят афонцев, по древнему преданию, за то, что когда-то и какой-то из византийских императоров отнял у них землю и отдал святогорцам. Судя по тому, что сербский^{*****} монастырь Хилендарь — самый близкий из всех монастырей к черте Афона со стороны перешейка, вероятно (если только предание верно), земля эта досталась ему. Незадолго до моего приезда на Св<ятую> гору сгорела у этого монастыря, и без того бедного, значительная часть прекрасного хвойного леса, и все подозревали, что жители села Ериссо нарочно подожгли его. Была ли какая-нибудь тяжба по этому поводу — не знаю; но помню, что сам о<тец> Макарий рассказывал мне об этих враждебных отношениях соседних селян. Тем не менее он с молодым священником, приглашенным для совместного с ним служения, не только обошелся как нельзя ласковее, но даже на прощание подарил ему для его приходской церкви очень красивые и совсем новые воздухи ¹⁵ белого газета с пестрым шитьем. (О<тец> Макарий привез их с собою, зная, до чего убога церковь на этой заброшенной башне.)

Когда, по окончании обедни, мы сели — он на мула, я на лошадь свою — и поехали

обратно в Руссик, о<тец> Макарий сам сознался мне в этом добром деле своем, небольшом, конечно, по вещественной ценности, но очень значительном по нравственному смыслу (ибо это был дар святогорца представителю враждебного святогорцам селения).

Отец Макарий сказал мне с тем веселым и сияющим умом и добротой выражением лица, которое я так любил:

— Мне уж и его, бедного (т. е. молодого священника), захотелось утешить. Пусть и он повеселее уедет домой...

Отец Макарий сказал «и он», потому что он знал, как я был в этот день некоторыми обстоятельствами обрадован и утешен.

Он знал также, до чего я доброту и щедрость люблю по природе моей и как я в то время к монашеству привязался. Другому, быть может, он бы и не нашел нужным об этом сам говорить; но он угадывал, до чего мне будет приятно это слышать. Доброта глубокая часто гораздо виднее в мелочах жизни и тонкостях сердца, чем в случаях крупных; в последних нередко душа и жесткая, но не лишенная благородства, смягчается и становится добра. И каждый из нас, я думаю, в жизни своего сердца может припомнить такие случаи, когда какое-нибудь тонкое к нам внимание, внушенное другому человеку мгновенным и милым движением души, несравненно больше нас тронуло, чем самые серьезные благодеяния и услуги.

Так и в этом неважном, казалось бы, деле, в котором я был вовсе в стороне, в деле красивых, но недорогих воздушов, подаренных почти что врагу, и в улыбке, и в словах о<тца> Макария, обращенных ко мне, когда мы тронулись в путь, — мое и без того так сильно расположенное к нему сердце прочло столько живой и тонкой любви, что мне захотелось тотчас же поцеловать его благородную руку! И будь мы одни, без свиты, я, наверное, и сидя верхом сделал бы это.

Да, меня восхитило это трогательное движение его сердца; но не так взглянул на дело общий нам обоим, суровый и великий наставник.

Когда, вернувшись в Руссик, я пришел в келью к о<тцу> Иерониму, он сказал мне при самом архимандрите.

— Отец Макарий-то, видели? Воздухи подарил священнику! С какой стати раздавать так уж щедро монастырское добро — и кому же: врагу Афонского монастыря!

Отец Макарий сначала молчал и улыбался только, а потом сказал что-то, не помню, до этого дела вовсе не касающееся, и ушел.

Оставшись со мной наедине, о<тец> Иероним вздохнул глубоко и сказал:

— Боюсь я, что он без меня все истратит. Он так уж добр, что дай ему волю, так он все «тятинькино наследство в орешек сведет»!

Я, разумеется, стал защищать о<тца> Макария, и мне было немножко досадно на старца, что он вместо того, чтобы разделять нашу небольшую духовную радость, охлаждает ее практическими соображениями.

На возражения мои отец Иероним отвечал мне кротко и серьезно, с одной из тех небесно-светлых своих улыбок, которые чрезвычайно редко озаряли его мощное и строгое лицо и действовали на людей с неотразимым обаянием. Он сказал мне так:

— Чадочко Божие, не бойся! Его сердца мы не испортим... он уж слишком милосерд и благ. Но ведь игумену сто лет; я тоже приближаюсь к разрешению моему, — ему скоро придется быть начальником, пасти все это стадо... И где же? Здесь, на чужбине! Само по себе — оно и хорошо, что он эти воздушы подарил, и Вы видите по жизни наших монахов, что им самим-то ничего не нужно. Но монастырю средства нужны. И отца Макария надо беспрестанно воздерживать и приучать к строгости. Он у нас «увлекательный» человек...

Так сказал старец.

При виде этой неожиданной и неизобразимой улыбки на прекрасном величественном лице, при еще менее ожидаемой для меня речи на «ты» со мной, — при этом отеческом воззвании — «Чадочко Божие» — ко мне, сорокалетнему и столь грешному, — мне захотелось уже не руку поцеловать у него, а упасть ему в ноги и поцеловать валеную старую туфлю на ноге его.

Даже и эта ошибка «увлекательный» вместо «увлекающийся» человек, — эта маленькая «немоощь образования» в связи со столькими великими силами духа, и она восхитила меня!

Да, как ни высок был нравственно отец Макарий, едва ли бы он мог без отца Иеронима стать тем замечательным начальником, каким мы его знали.

Я говорил прежде о «самоваянии» иноков. Отец Иероним был человек железной воли по преимуществу. Его внутреннее «самоваяние», вероятно, имело целью прежде всего смягчить свое сердце, сломать, смирить свою *по природе* гордую волю. Возможно также, что именно с намерением отстранить от себя все искушения власти над кем бы то ни было, он так упорно и долго отказывался от иеромонашества и в России, и на Афонской горе, и только самое строгое повеление его святогорского наставника, старца Арсения, вынудило его принять хиротонию¹⁶. Я слышал от него самого, что из России он уехал тогда, когда архиерей, полюбивший его, сказал ему: «мы тебя далеко поведем».

Отец Иероним был до того всегда *покоен и невозмутим*, что я, имевший с ним частые сношения в течение года с лишком, ни разу не видал — *ни чтобы он гневался, ни чтобы он смеялся*, как смеются другие. Едва-едва улыбнется изредка, никогда не возвысит голоса, никогда не покажет ни радости особой, ни печали. Иногда только он немного посветлее, иногда немного мрачнее и суровее. А между тем он все чувства в других понимал, самые буйные, самые непозволительные и самые малодушные. Понимал их тонко, глубоко и снисходительно. Все боялись его и все стремились к нему сердцем.

— Какое у него «тяжелое»^{*****} лицо! — сказал мне один набожный юноша-грек, взглядевшись в него.

— Как он умеет успокоить и утешить одним словом, одним взглядом своим, — говорили мне монахи.

И то, и другое было верно. Так действовал он и на меня.

Отец Макарий, напротив того, по самому темпераменту своему, видимо, был человек подвижный и горячий, человек любви и сердечных увлечений. Ему нужно было для успешного начальствования и для той внешней борьбы с людьми и обстоятельствами, к которой он был предназначен, несколько остыть и окрепнуть в руках человека покойного и непреклонного, но тем не менее искреннего в духовных вождениях своих.

Что касается до милостыни собственно, то и о^{<тец>} Иероним славился на Афоне щедростью своей к нуждающимся. Я сам знаю, сколько он делал и вещественного добра. Но «смирять» ли он хотел от времени до времени архимандрита, ученика своего, делая ему выговоры даже и при мне и «готовя ему за крепость венцы», или в самом деле находил, что его доброта и щедрость переходят за черту рассудительности, — это я не берусь решить.

Это лучше моего знают те люди, которые с ними обоими жили дольше моего. Вообще я сознаюсь, что я сказал здесь очень мало об о^{<тце>} Иерониме, и даже то, что я сказал, совершенно недостойно ни его великого значения, ни его великого характера. Но что вместилось здесь, то и вместилось. Здесь невозможно изобразить со всей полнотою и ясностью его нравственный образ.

Заниматься мимоходом таким священным для меня делом я не стану; описывать же его житие так, как того бы требовала важность предмета, я теперь, по многим причинам, не могу.

[Μφ 11:12.](#)

Avec dignite (*лат.*) — с достоинством.

Возглас дьякона на литургии верных. Хор отвечает на него: «Отца и Сына и Святого Духа, Троицу единосущную и нераздельную».

Мизантропия — нелюбовь к людям.

[Пс 83:2-4, 11.](#)

Воспоминания относятся к 1871 г.

Плащаница — тонкое льняное полотно.

См. настоящее издание.

Схима — «великий ангельский образ»; высшая степень монашеского подвига в православной Церкви.

Мантия (от греч. mantion — покрывало, плащ) — длинный плащ; парадное одеяние монархов, высших служителей церкви.

Консервы — очки.

Одно из древнейших христианских песнопений (конца III — начала IV в.), которое поется на великой вечерне.

Требник — богослужебная книга, содержащая последование священнодействий и молитвословия, совершаемые по просьбе одного или нескольких христиан в особых условиях места и времени.

Клобук — головной убор монахов, высокий цилиндр без полей с покрывалом; черный у простых монахов и архиереев, белый — у митрополитов и патриархов. Ряса — верхняя одежда православного духовенства.

Воздух — состоящая из трех покровов накидка для покрытия Святых Даров, во время литургии приготовленных к освящению на дискосе и чаше и покрываемых сперва порознь малыми покрывами, а затем оба священных сосуда покрываются вместе воздухом.

Хиротония — епископское рукоположение.

Все это уже было написано, когда я прочел в «Московск<их> ведомост<ях>» (№ 182 и 184) превосходную статью г-на Красковского о том же самом архим<андрите> Макарии. Ее стоит рекомендовать читателям. Кой в чем мы, однако, разнимся с ним, и я думаю даже, — он в некоторых отношениях правее меня. Пока я, впрочем, в своем рассказе почти ничего не изменил и в следующий раз поговорю подробнее о некоторых более важных разногласиях наших. Исправил я у себя только две ошибки, полагаясь на свежую память г. Красковского, недавно бывшего на Святой горе. В первой статье моей я называл молодого Сушкина — «Михаил Иванович»; здесь я, по г-ну Красковскому, стал звать его Михаилом Петровичем¹



Архондарикон — приемная для архонтов, для важных лиц. Русские монахи, которые попросту, переломали это звучное греческое слово в какой-то жалкий «фондарик».

Во время моего пребывания на Афоне часы на игуменской литургии почти ежедневно читались или маркизом де-Гр-о, или одним отставным обер-офицером из евреев. — *Примечание г-на Красковского.*

Просто *варенье* с водой.

Статья эта была переведена мною самим по-французски и издана тогда же в Константинополе отдельной брошюрой.

Границей Святой горы от «мира» считается небольшой ручей, текущий по кустам неподалеку от того места, где оканчивается плоский, низменный перешеек и начинается первая афонская крутизна.

Не знаю, как теперь, а в мое время монастырь Хилендарь был только по прозвищу *сербский*. Болгары, как мне говорили, мало-помалу заменили в нем сербов, потому что сербы вовсе стали отставать от монашества в XIX веке. В то время о них на Афоне почти что и не слышно было.

Выражение *вари просолон* в подобных случаях обычно переводится словом «важный»; но я нахожу, что к лицу покойного о<тца> Иеронима идет больше такой перевод «тяжелое лицо», т. е. подстрочный <перевод> слова *варис*, и. В минуту суровости в его лице было действительно нечто спокойно-подавляющее, бесстрастно-гнетущее.